

М.М.БАХТИН

К МЕТОДОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ*

Автор литературного произведения присутствует только в целом произведении, и его нет ни в одном выделенном моменте этого целого, менее же всего в оторванном от целого содержании его. Он находится в там не-выделимом моменте его, где содержание и форма неразрывно сливаются. Литературоведение сплошь и рядом ищет автора в «выделенном из целого содержании, которое легко позволяет отождествить его с автором — человеком определенного времени, определенной биографии и определенного мировоззрения. При этом «образ автора» почти сливается с образом реального человека.

Подлинный автор не может стать образом, ибо он создатель всякого образа всего образного в произведении. Поэтому так называемый «образ автора» может быть только одним из образов данного произведения (правда, образом особого рода). Художник часто изображает себя в картине, пишет и свой автопортрет. Но в автопортрете мы не видим автора как такового (его нельзя видеть), во всяком случае, не больше, чем в любом другом произведении автора; больше всего он раскрывается в лучших картинах данного автора. Автор — создающий — не может быть создан в той сфере, в которой он сам является создателем. Это *natura naturans*, а не *natura naturata*. Творца мы видим только в его творчестве, но никак не вне его.

* Печатается по: Контекст.: Лит.-теорет. Исследования: 1974. — М., 1975. — С. 203—212.

Автор, создавая свое произведение, не предназначает его для литературоведа и не предполагает специфического литературоведческого понимания, не стремится создать коллектива литературоведов. Он не приглашает к своему пиршественному столу литературоведов.

Современные литературоведы (структуралисты в большинстве своем) обычно определяют имманентного произведению слушателя как всепонимающего, идеального слушателя; именно такой постулируется в произведении. Это, конечно, не *эмпирический* слушатель и не психологическое представление, образ слушателя в душе автора. Это — абстрактное идеальное образование. Ему противостоит такой же абстрактный идеальный автор. При таком понимании, в сущности, идеальный слушатель является зеркальным отражением автора, дублирующим его. Он не может внести ничего *своего*, ничего нового в идеально понятое произведение и в идеально полный замысел автора. Он в том же времени и пространстве, что и сам автор, точнее, он, как и автор, вне времени и пространства (как и всякое абстрактное идеальное образование), поэтому он и не может быть *другим* (или чужим) для автора, не может иметь никакого *избытка*, определяемого дружеством. Между автором и таким слушателем не может быть никакого взаимодействия, никаких активных драматических отношений, ведь это не голоса, а равные себе и друг другу абстрактные понятия. Здесь возможны только механические или математизированные, пустые тавтологические абстракции. Здесь нет ни грана персонификации.

Познание вещи и познание личности. Их необходимо охарактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только внешность, существующая только для другого и могущая быть раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого другого (познающего). Такая вещь, лишенная собственного неотчуждаемого и непотребляемого нутра, может быть только предметом практической заинтересованности. Второй предел — мысль о личности в присутствии самой личности, вопрошание, диалог. Здесь необходимо свободное самооткровение личности. Здесь есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить (здесь сохраняется всегда дистанция), — ядро, в отношении которого возможно только чистое бескорыстие; открываясь для другого, оно всегда остается и для себя. Вопрос задается здесь познающим не себе самому и не третьему в «присутствии мертвой вещи, а самому познаваемому. Критерий здесь не *точность*

познания, а *глубина* проникновения. Познание здесь направлено на индивидуальное. Это область открытий, откровений, узнаний, сообщений. Здесь важна и тайна, и ложь (а не ошибка).

Двусторонний акт познания-проникновения очень сложен. Активность познающего сочетается с активностью открывающегося (диалогичность); умение познать — с умением выразить себя. Мы имеем здесь дело с выражением и познанием (пониманием) выражения, со сложной диалектикой внешнего и внутреннего. Личность имеет не только среду и окружение, но и собственный кругозор. Кругозор познающего взаимодействует с кругозором познаваемого. Здесь «я» существую для другого и с помощью другого. История конкретного самосознания немыслима без роли в ней другого, без отражения себя в другом.

Конкретные проблемы литературоведения и искусствоведения связаны с взаимоотношением окружения и кругозора «я» и другого. Проникновение в другого (слияние с ним) сочетается с сохранением дистанции (своего места), обеспечивающей избыток познания. Это относится и к выражению личности, и к выражению коллективов, народов, эпох, самой истории с их кругозорами и окружением. Предмет гуманитарных наук — *выразительное* и *говорящее* бытие. Это бытие никогда не совпадает с самим собою и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении.

Точность, ее значение и границы. Точность предполагает совпадение вещи с самой собой. Точность нужна для практического овладения. Самораскрывающееся бытие не может быть вынуждено и связано. Оно свободно и потому не представляет никаких гарантий. Поэтому здесь познание ничего не может нам подарить и гарантировать.

Итак, два предела мысли и практики (поступка) или два типа отношения (вещь и личность). Чем глубже личность, т.е. ближе к личностному пределу, тем неприменимее генерализующие методы; генерализация и формализация стирают границы между гением и бездарностью.

Пределом точности в естественных науках является идентификация ($a=a$). В литературоведения точность — преодоление чуждости чужого без превращения его в чисто свое (подмены всякого рода, модернизация, неузнание чужого и т.п.). Важнее всего здесь *глуби-*

на — необходимость добраться, углубиться до творческого ядра личности, в котором она продолжает жить, то есть бессмертна.

Точные науки — это монологическая форма знания: интеллект созерцает *вещь* и высказывается о ней. Здесь только один субъект — познающий (созерцающий) и говорящий (высказывающийся). Ему «противостоит только *безгласная вещь*. Любой объект знания (в том числе человек) может быть воспринят и познан как вещь. Но субъект (личность) как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, быть *безгласным*, следовательно, познание его может быть только *диалогическим*.

Существуют разные виды *активности* познавательной деятельности: активность познающего безгласную вещь и активность познающего другого субъекта, т.е. диалогическая активность познающего, которая встречает диалогическую активность познаваемого субъекта. Диалогическое познание есть *встреча*.

Вопрос и ответ не являются логическими отношениями (категориями); их нельзя вместить в одно (единое и замкнутое в себе) сознание; всякий ответ порождает новый вопрос. Вопрос и ответ предполагают взаимную вневходимость. Если ответ не порождает из себя нового вопроса, он выпадает из диалога и входит в системное познание, по существу безличное. Диалог предполагает разные хронотопы спрашивающего и отвечающего (и разные *смысловые миры* — «я» и «другой»). Вопрос и ответ с точки зрения «третьего» сознания и его «нейтрального» мира, где все *заменимо*, неизбежно *деперсонифицируются*.

Между тем в современном литературоведении (особенно в структурном) сплошь и рядом только один субъект: субъект самого исследователя. «Вещи» превращаются в понятия (разной степени абстракции); субъект же никогда не может стать понятием (он сам говорит и отвечает). «Смысл» персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как диалогический минимум). Это — персоналистичность не психологическая, но смысловая.

Проблема границ текста и контекста. Каждое слово (каждый знак) текста выводит за его пределы. Недопустимо замыкание анализа (познания и понимания) в один данный текст. Всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами и переосмысле-

ние в новом контексте (в моем, в современной, в будущем). Предвосхищаемый контекст будущего — это ощущение, что я делаю новый шаг (сдвинулся с места). Этапы этого диалогического движения понимания: исходная точка — данный текст, движение назад — прошлые контексты, движение вперед — предвосхищение (и начало) будущего контекста.

Текст живет только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед, приобщающий данный текст к диалогу. Подчеркиваем, что этот контакт есть диалогический контакт между текстами (высказываниями), а не механический контакт «оппозиций», возможный только в пределах одного текста (но не текста и контекстов) между абстрактными элементами (*знаками* внутри текста) и необходимый только на первом этапе понимания (понимания *значения*, а не *смысла*). За этим контактом контакт личностей, а не вещей (в пределе). Если мы превратим диалог в один сплошной текст, т.е. сотрем разделы голосов (смены говорящих субъектов), что в пределе возможно (монологическая диалектика Гегеля), то глубинный (бесконечный) смысл исчезнет (мы стукнемся о дно, поставим мертвую точку).

Полное, предельное овеществление неизбежно привело бы к исчезновению бесконечности и бездонности смысла (всякого смысла).

Мысль, которая, как рыбка в аквариуме, наталкивается на дно и на стенки и не может плыть дальше и глубже... Истинная мысль знает только *условные* точки; она смыкает все поставленные раньше точки.

Освещение текста не другими текстами (контекстами), а *вне-текстовой вещью* (овеществленной) *действительностью* имеет место при чисто биографическом, вульгарно-социологическом и причинном (в духе естественных наук) анализе, а также и при деперсонифицированной историчности («история без имен»). Подлинное понимание в литературе и литературоведении всегда исторично и персонифицировано. Все так называемые «реалии» в литературе — это *вещи, чреватые словом*.

Задача заключается в том, чтобы *вещную* среду, воздействующую механически на личность, заставить заговорить, т.е. раскрыть в ней потенциальное слово и тон, превратить ее в смысловой контекст мыслящей, говорящей и поступающей (в том числе и творящей) личности. В сущности, всякий серьезными глубокий самоотчет-

исповедь, автобиография, чистая лирика и т.п. это делает. Из писателей наибольшей глубины в таком превращении вещи в смысл достиг Достоевский, раскрывая поступки и мысли своих главных героев. Вещь, оставаясь вещью, может воздействовать только на вещи же; чтобы воздействовать на личности, она должна раскрыть свой *смысловой потенциал*, стать словом, т.е. приобщиться к возможному словесно-смысловому контексту.

При анализе трагедий Шекспира мы также наблюдаем последовательное превращение всей воздействующей на героев действительности в смысловой контекст их поступков, мыслей и переживаний: или это прямо слова (слова ведьм, призрака отца и пр.), или события и обстоятельства, переведенные на язык осмысливающего потенциального слова.

Нужно подчеркнуть, что здесь нет прямого и чистого приведения всего к одному знаменателю: вещь остается вещью, а слово словом, они сохраняют свою сущность и только восполняются смыслом.

Нельзя забывать, что вещь и личность — *пределы*, а не абсолютные субстанции. Смысл не может (и не хочет) менять физические, материальные и другие явления, он не может действовать как материальная сила. Да он и не нуждается в этом: он сам сильнее всякой силы, он меняет тотальный смысл художественных событий и действительности, не меняя ни йоты в их действительном (бытийном) составе, все остается как было, но приобретает совершенно иной смысл (смысловое преображение бытия). Каждое слово текста преобразуется в новом контексте.

Есть ли соответствие «контексту» в естественных науках? Контекст всегда персоналистичен (бесконечный диалог, где нет ни первого, ни последнего слова), в естественных науках — объектная система (бессубъектная).

Наша *мысль* и наша *практика* — не техническая, а *моральная* (т.е. наши ответственные поступки) — совершаются между двумя пределами: отношениями к *вещи* и отношениями к *личности*. Одни наши акты (познавательные и моральные) стремятся к пределу *овеществления*, никогда его не достигая, другие акты — к пределу *персонификации*, до конца его не достигая. Но персонификация ни в коем случае не есть субъективизация. Предел здесь не «я», а «я» во взаимоотношении с другими личностями.

Большую роль (большую, чем иногда полагают) играют в литературе образы-символы. Переход образа в символ придает ему особую смысловую *глубину* и смысловую перспективу. Содержание подлинного символа через опосредствованные смысловые оцепления соотносено с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого универсума. Каждое частное явление погружено в стихию первоначал бытия. Причем в отличие от *мифа* здесь есть осознание своего несовпадения со своим собственным смыслом.

Всякая интерпретация символа сама остается символом, но несколько рационализированным, т.е. несколько приближенным к понятию. Определение *смысла* во всей глубине и сложности его сущности подразумевает «прибавление» путем творческого созидания. Здесь предвосхищение дальнейшего растущего контекста, отнесение к завершенному целому и отнесение к незавершенному контексту; восполняемые воспоминания и предвосхищенные возможности (понимание в далеких контекстах); при воспоминаниях мы учитываем и последующие события (в пределах прошлого), т.е. воспринимаем и понимаем вспомнутое в контексте незавершенного прошлого.

В какой мере можно раскрыть и прокомментировать смысл (образа или символа)? Только при помощи другого (изоморфного) смысла (символа или образа). Растворить его в понятиях невозможно. Возможна либо относительная рационализация смысла (обычный научный анализ), либо углубление его при помощи других смыслов (философско-художественная интерпретация) — углубление путем расширения далекого контекста. Истолкование символических структур принуждено уходить в бесконечность символических смыслов, поэтому оно и не может стать научным в смысле научности *точных* наук.

Интерпретация смыслов не может «быть научной, но она глубоко познавательна. Она может непосредственно послужить практике, имеющей дело с вещами. «...Надо будет признать симвонологию не “ненаучной”, но *ионаучной* формой знания, имеющей свои внутренние законы и критерии точности»¹, — верно замечает С.С. Аверинцев.

Содержание как новое, форма как шаблонизированное, застывшее старое (знакомое) содержание. Форма служит необходимым мостом к новому, еще неведомому содержанию. Форма была знакомым и общепонятным застывшим старым мировоззрением. В докапиталистические

¹ Краткая литературная энциклопедия. — М., 1971. — Т. 6 — Стлб. 828.

эпохи между формой и содержанием был менее резкий, более плавный переход: форма была еще не затвердевшим, не полностью фиксированным, нетривиальным содержанием, была связана с результатами общего коллективного творчества, например с мифологическими системами. Форма была как бы имплицитным содержанием; содержание произведения развертывало уже заложенное в форме содержание, а не создавало его как нечто новое, творя его в порядке индивидуальной инициативы. Содержание, следовательно, в известной мере предшествовало произведению. Автор не выдумывал содержание своего произведения, а только развивал то, что уже было заложено в предании.

Собственно семантическая сторона произведения, т.е. *значение* его элементов (первый этап понимания), принципиально доступен любому индивидуальному сознанию. Но его ценностно-смысловой момент (в том числе и символы) значим лишь для индивидов, связанных какими-то общими условиями жизни (ср. первоначальное значение слова «символ»), в конечном счете — узами братства на высоком уровне.

Выражение эмоционально-ценностных отношений может носить не эксплицитно-словесный характер, а, так сказать, имплицитный характер в *интонации*. Наиболее существенные и устойчивые интонации образуют интонационный фонд определенной социальной группы (нации, класса, профессионального коллектива, кружка и т.п.). В известной мере можно говорить одними интонациями, сделав словесно выраженную часть речи относительной и заменимой, почти безразличной (как часто мы употребляем ненужные нам по своему значению слова или повторяем одно и то же слово или фразу только для того, чтобы иметь материальный носитель для нужной нам интонации).

Внетекстовой интонационно-ценностный контекст может быть лишь частично реализован при чтении (исполнении) данного текста, но в большей своей части, особенно в своих наиболее существенных и глубинных пластах, остается вне данного текста как диалогизующий фон его восприятия. К этому в известной степени сводится проблема социальной (внесловесной) обусловленности произведения.

Текст — печатный, написанный или устный (записанный) — не равняется всему произведению в его целом (или «эстетическому объекту»). В произведение входит и необходимый внетекстовый кон-

текст его. Произведение как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создает новое звучание произведения).

Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное единство всего человечества, всех человеческих культур, сложное единство человеческой литературы. Все это раскрывается только на уровне «большого времени». Каждый образ нужно понять и оценить на уровне «большого времени». Анализ сплошь и рядом копошится на узком пространстве малого времени, т.е. современности и ближайшего прошлого и представляемого — желаемого или пугающего — будущего. Эмоционально-ценностные формы предвосхищения будущего в языке-речи (приказания, пожелания, предупреждения, заклинания и т.п.), мелкочеловеческое отношение к будущему (пожелание, надежда, страх); нет понимания ценностных непредрешенности, неожиданности, так сказать — «сюрпризности», абсолютной новизны и т.п., нет отвлечения от себя в представлениях о будущем (будущее без меня).

В «малом времени» лежит и противопоставление нового и устаревшего в литературе. Без этого противопоставления нельзя обойтись, но подлинное «сущностное» ядро литературы лежит по ту сторону этого различия (как и истина, и как добро). В тех же узких рамках малого времени лежит и характерное отношение к современности: не отстать и опередить (авангардизм).

Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в безграничное будущее). *Даже прошлые*, т.е. рожденные в диалоге прошедших веков смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и навсегда завершенными, конченными), они всегда будут меняться (обновляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога. В любой момент развития диалога существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его, они снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет — в «большом времени» — свой праздник возрождения.

1940. 1974